

Татьяна Калужина

## ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК

...И вот она бежит, бежит через двор, и на ногах почему-то — валенки, смешная деревенская обувь, которую Ленка и не носила никогда, и вообще у них в городе этого не носят. У них носят — унты. Толстые высокие сапоги из оленьей шкуры, со вставками из какой-то тоже толстой, добротной ткани, расшитой бисером. Ноге в таком унте сначала тяжело с непривычки, зато потом легко и весело, словно олень ей свою резвость отдает. У Ленки есть такие унты, и у Гули есть, и у Альфии. А валенки — это только у одного человека, у Ирки. Валенки и драное пальтишко с вечно оборванным хлястиком.

Ну все, так и есть — она сегодня превратилась в Ирку! Тонкие ножки болтаются в широких войлочных голенищах, словно карандаши в стакане. Ветер бьет в спину, пронизывая изношенный худой драп. Серая кроличья ушанка падает на глаза, вот-вот сорвется с головы и полетит впереди хозяйки.

Смутно, неприкаянно на душе. Ирка-Ленка, преодолев сугробы, стоит на пятачке пространства между двумя домами: вскарабкалась-таки по лестнице. Это место — самое труднопроходимое на пути к школе. Ледяные ступени, порывы ветра из-за угла. Непонятно, зачем здесь лестница. Едва успел подняться — опять спускаться надо. Между «подняться» и «спускаться» — маленькая площадка, кусок бетонной плиты с неряшливо прорезанным квадратным люком. Там, внизу — ржавые прутья арматуры, мусор, бутылки, битое стекло. Два соседних дома соединяются через этот лаз своими подвалами, как сообщающиеся сосуды. Летом здесь сидят мальчишки, курят втихаря, плавают алюминиевые ложки на амулеты. А зимой там, внизу, делать нечего. Холодно.

Ирка идет, цепляясь за перила, мимо опасного провала. Валенки скользят, съезжают по грязной наледи. Но Ирка ловкая, и потом — ей не привыкать. Сто раз уже здесь ходила.

Сто раз ходила, сто раз заглядывала в люк, и на сто первый — вот сейчас — тоже решила заглянуть зачем-то. Мельком, краем глаза: убедиться, что пусто, нет там никого. Глянула и — примерзла к месту. Валенки ее огромные примерзли, а ноги внутри — засуетились, засеменили мелко-мелко, пытаясь вжаться в стоптанные задники, отпрянуть на самых цыпочках. Узкая металлическая планка перил врезалась под лопатки, руки по-птичьему раскинулись в стороны, а из живота поднялся, медленно распускаясь, липкий тоскливый ужас.

Ирка, Ирка, что ты наделала! Ты ведь знаешь — там девочку мертвую нашли. Мертвую девочку, которую находят там каждое лето. И каждое лето пацаны рассказывают о ней сишлыми придушенными голосами, тараща глаза и передавая по кругу бесконечный, уютно тлеющий в ладонях бычок — один на всю компанию.

«Да, — говорят они, посасывая этот вкусный оранжевый бычок, попыхивая им, как бывалые. — Такая тема. Да...»

Ты ведь знала об этом, Ирка! Зачем же ты посмотрела вниз?..

Мертвая девочка сидит, обхватив колени и запрокинув кверху бледное, никому на свете не знакомое лицо. Одета она полетному: платье, сандалии... И это — ужаснее всего. Это — самая суть кошмара. Летний вид в разгар трескучих заполярных морозов. В этом и есть ее мертвость. Неоспоримая, доказанная взгляду раз и навсегда.

«Ты пришла в гостиницу-у...» — нараспев начинает девочка и улыбается Ирке выжидательно, чуть лукаво.

И дальше отступать некуда. И некуда расширяться огромному, распяленному зрачку. Остается стоять и смотреть. И слушать ее, мертвую.

«Ты — пришла — в гостиницу-у?..»

Это игра. Ирка должна продолжить, слово какое-то назвать. Но Ирка не знает слова! Ирка вообще двоичница, у нее рассеянное внимание, цыпки на руках и нет ни одной подруги. Нет никого, кто мог бы научить ее этой игре, а значит, и ни единого шанса выиграть. То есть пройти мимо мертвой девочки и попасть в школу.

Ленка, живущая в ней, слово помнит. Помнит очень хорошо: столько раз произносила его вчера, то одной своей подружке загадывала, то другой... Такое простое слово, и никак его не выговорить. Кто-то держит слово за шиворот, и слово барахтается

на весу, извиваясь и молотя по воздуху бессильными кулачками... Но вот слово наконец вырывается... Слово стряхивает чьи-то руки и бежит... Бежит к Ирке на помощь. Но слово вязнет. У слова — слабые шерстяные ножки с предательским подкосом в коленных чашечках. Слову никогда не выбраться из этого вязкого, вязкого сна...

«А-а! А-ах!» — постанывает Ленка, разметав волосы по подушке.

Бах! Ба-бах!

Ветер бушует за окном, сотрясает рамы, наваливается на стекла всем телом. У ветра есть тело. Грузное, таранящее. Сначала идет плечо, потом — снежная взлохмаченная башка, и дальше — все остальное, метельный шлейф из перепутанных, искрящихся снежинок.

Ба-бах! — бьется в окно ветер.

«А-а, а-ах!» — стонет Ленка во сне.

Теперь ей снится, что она уже в школе. Но что-то не так. Дежурная старшеклассница тычет пальцем вниз, на ее обувь: сменка, где твоя сменка? — Да вот же она, вот! Но на сандалиях, предьявленных взору сердитой старшеклассницы, — мокрые комья снега. Все смотрят на Ленкины ноги. Все понимают. Это не сменка.

— Хорош скулить! — Гуля, старшая сестра, сидит на ручке кресла возле Ленкиной тахты и накручивает телефонный диск. Звук приятный, потрескивающий. Ленка цепляется за этот звук, как за веревочную лесенку, и наконец выныривает из сна. Все в ней еще дрожит. Все еще сжато той темной, венозной, стынущей в предсердиях ледяной тоской, которая возникает у всякого живого существа перед ликом неминуемой гибели. Но комната, теплая комната, знакомо собирается из сумрака... Я дома!

— Опять вам повезло, мелюзга, — со вздохом объявляет Гуля, послушав трубку. — Активировка с первые по шестые классы.

«Активировка! — радуется Ленка. — Активировка...»

— Везет же некоторым, — продолжает бухтеть Гуля. — Эх, сейчас бы обратно, в детство!

Глупая. Она не понимает своего счастья. Конечно, у детства есть некие неоспоримые преимущества перед миром взрослых, такие как активировка, например. Но в основном детство — это очень опасно. Это странное время суток в жизни человеческой.

Время лиловых сумерек. Время поползновений. Охоты тьмы — и света — на тебя. Время, когда человек идет, допустим, в школу, смотрит себе под ноги, как унтайки наступают на снег, и кажется ему, что какая-то бесшумная невидимая кинокамера на длинной шее, сочлененной из прутьев и шарниров, крадется над ним, следом, и снимает про него невидимое кино. И в этом кинематографе может произойти все, что угодно.

Гуля уже выросла. Она — недосягаема для камеры. Мертвые девочки не ждут ее и не смотрят на нее из-под бетонных плит. Гуля *ходит* с парнем, которому семнадцать лет...

— Вставай уже. Заплету. — Голос у Гули скрипучий, недовольный.

— Ну, Гуль, — хнычет Ленка. — Зачем? Все равно ведь не в школу...

— Вставай, сказала!

В школу или не в школу, а ритуал заплетания был священен. Каждое утро, сколько Ленка себя помнила — а помнила она себя только с длинными волосами, — мама или Гуля заплетали ей крепкую тугую косу «дракончиком». Вдоль косы дыбились пушинки, виски потягивало, надо лбом вставала мягкая золотистая опушка. К вечеру вся эта красота немного оседала и расстрепывалась, и перед сном Ленка расплетала себя уже сама — стягивала резинку, выпутывала из прядей скользкую атласную ленточку, свившуюся в жгут...

— Головой не верти!

Ленка сидит перед зеркалом, мечтательно жмурясь и производя в уме сладостные подсчеты: математика — ооо!.. чистописанье — хо-хо!.. физкультура — ха, ха, ха!

Руки у Гули быстрые, проворные, но далеко не такие ласковые, как у мамы. Заплетание сопровождается драньем и дерганьем. Гуля придерживает Ленкину голову за макушку, деловито орудует расческой, приговаривает что-то про колтуны. Конечно, ей жаль, что активировка случилась не у нее.

В комнате, как в пещерке, — таинственный полумрак. Горит только скрюченная настольная лампа.

— Гуль, а знаешь такую игру? — тонким «подлизистым» голоском заводит Ленка, чтобы хоть как-то искупить свое везение. — Вот давай: я буду говорить предложение, а ты мне отве-

чай — «Победа», — только каждый раз отнимай по одной букве. Начиная с «П». Хорошо?

— Ничего хорошего, — буркает сосредоточенная Гуля.

— Ну, давай, попробуем! Ты пришла в гостиницу...

— Чего-о? В какую еще гостиницу?

— Ну, давай, говори, Гуль: «Победа».

— Ну, «Победа».

— В той гостинице ждала ты...

— Хм... Обед?

— Вдруг с тобой случилась...

— Беда!

— У тебя пропала...

— Еда!

— Ты плакала?

— Да!

— Как?

— А-а-а!!! — смеется, наконец, Гуля, наклоняется к Ленке низко-низко, фыркает губами между шеей и плечом, а пальцами — по ребрышкам пробегается. — А-а-а-а, rrrrrr!!! Загрызу-загрызу-загрызу!!!

Ленка тоже заливается смехом, корчится на стуле.

— Победа! Победа! — вопит Гуля, прыгая перед зеркалом за Ленкиной спиной. В одной руке у нее зажата ленточка, в другой — расческа. Гуля дурачится и строит рожи, как маленькая.

— Эх, — говорит она, успокоившись. — Не мой сегодня день. Контроша по химии... А я так надеялась...

Ленка тоже делает скорбное лицо.

— Ладно, Вьюнок, сиди смирно. Наведем тебе марафет.

Потом Ленка, в трусах и майке, но с нарядным «дракончиком» на голове, провожает сестру в прихожей. У Гули — длинный стеганый пуховик песочного цвета, с шерстяной горловиной, мягкий и шебуршащий. Он застегивается на «молнию» до самого подбородка, и застежка «молнии» свисает драгоценной каплей, покачивается и блестит.

Гуля в нем, в этом пуховике, похожа на египетскую царевну Нефертити. Так сказал папа. И Гуля после этих его слов вырвала страницу из учебника, а из страницы вырезала картинку

с изображением ее, Нефертити, древней и очень красивой головы, и закрепила эту картинку в углу зеркала. Теперь всегда, собираясь в школу, смотрит на нее.

Гуля делает томные, как у Нефертити, глаза и пшикает себя мамиными духами. Поправляет шапочку двумя пальцами.

Шапочка у Гули вязаная, осенняя. Есть и ушанка, но Гуля в этом году наотрез отказалась ее носить: ушанка мнет челку. А челка для восьмиклассницы — это все равно что для Нефертити ее царственный головной убор. Без нее никак нельзя, особенно в школу.

— Пока! — роняет Гуля, перекинув сумку через плечо и берясь за дверную ручку.

Звонко щелкает замок. И — все, ушла. Нет ее. Только запах духов всколыхнулся на сквозняке.

— Ну вот, значит! — говорит Ленка самой себе. Громко говорит, уверенно. Проба голоса во внезапно нахлынувшей тишине. — Значит, будем ждать маму. Мама скоро придет. Уже, наверное, едет на автобусе.

Козерог, Сова и Лапа, живущие на обоях, смотрят с плохо скрываемым недоверием. Прикидывают, хватит ли им времени как следует *проступить*, или — если мама действительно скоро придет — отложить все до следующего раза? Затаиться в своем бумажном красновато-коричневом мирке, с рисунком «под мраморные разводы», и сидеть тихонечко, ждать. Ждать своего часа. Когда никто не придет и никто им не помешает...

— Скоро-скоро, — небрежно роняет Ленка в их сторону.

Теперь бы надо, по-хорошему, повернуть замок на два оборота. Мама всегда ругается, когда дверь не заперта и держится на одном язычке. Ее, конечно, с обратной стороны без ключа не откроешь, даже если и так, на язычке, но все равно — надежнее, когда полностью, на два оборота. А лучше еще и цепочку накинуть.

Но возле самой двери, внизу, караулит Лапа.

Это только кажется, что ее там нет. Она — там. Если об этом знать, если увидеть ее хотя бы один раз — то потом всегда будешь видеть, и никогда не забудешь, и никакие крапинки и прожилки на якобы природном мраморном срезе не введут тебя в заблуждение.

У Лапы четыре пальца — два человеческих и два звериных. Когти звериных хищно выпростаны, от них — как бы две царапины

по стене, словно кто-то, рвущийся изнутри, налетел на невидимую преграду. Но два человеческих пальца еще страшней. Они наделены умом и хитростью, и умением выжидать. Это они сдерживают яростный порыв звериных. Они говорят: «Не время. Пусть ближе подойдет. Пусть, как тогда, свет в квартире погаснет...»

Как-то раз Лапа уже пыталась затащить Ленку в свое застенье. Это случилось давно, год назад, Ленка еще совсем маленькая была. Сейчас она не любит об этом вспоминать.

— Ну ладно, — говорит Ленка всем обитателям прихожей и решительно поворачивается к ним спиной. Уйти нужно спокойно, медленно. Пусть думают, что про замок она просто забыла и что про маму — не соврала.

В комнате Ленка забирается с ногами в кресло, ставит телефон на подлокотник и, как Гуля двадцать минут назад, накручивает 08. Погодное бюро.

— Але, добрый день, — вежливо говорит в трубку, хотя знает уже, что там, на другом конце провода, сидит женщина-робот, которая никого не слышит и знай себе повторяет как заведенная: «Температура воздуха — двадцать четыре градуса ниже нуля, ветер штормовой, порывистый, двадцать метров в секунду. В связи с неблагоприятными погодными условиями для учащихся с первые по шестые классы объявляется активированный день...»

Активированный день — это значит попросту активировка.

Ленка слушает, вздыхая и наматывая провод вокруг коленки.

Такого слова — «активировка» — нигде больше нет. Только у них, на севере. У них есть активировка, тундра, унты, вечная мерзлота и северное сияние. Еще есть металлургический комбинат, вертолетный парк и лыжная база отдыха. Вся остальная земля называется отсюда — «материк». Там хорошо, на материке, тепло... Там живут все-все бабушки с дедушками, а на грядках растут клубника и огурцы. И зеленый горох с длинными закрученными усами. Иногда даже не верится, что все это действительно где-то есть. Раньше Ленка думала, что — только в телевизоре. И что вообще все то яркое, красочное, пальмовое и морское, загорелое и легко одетое, смеющееся с экрана, — все это было когда-то давным-давно, лет сто назад или двести, и все эти люди давно умерли, и землю усыпал снег. Всю землю.

Теперь-то она знает, что это не так. Не всю. Прошлым летом она с родителями и Гулей была у бабушки в красивом, солнечном и зеленом месте, называемом «деревней». Ленка помнит, как сначала они долго летели на самолете и как она, прилипнув к иллюминатору, разглядывала землю внизу — серовато-бурую, похожую на бок бродячей собаки, с проплешинами и рубцами... Потом все это исчезло за облаками, а когда спустя четыре часа вынырнуло снова — было уже совсем другим. Другой породы собака, с густой хвойно-зеленой шерстью. Так и хотелось ее погладить, пальцы поглубже запустить...

«Так вот ты какой, материк!» — подумала тогда Ленка, и в душе у нее медленно, словно кувырок в невесомости, случилось счастье.

Счастье продолжалось целый месяц и осталось в памяти как один долгий, залитый солнцем день, посреди которого Ленка все кружилась и кружилась, неутомимая, распахнув руки и запрокинув к небу смеющееся лицо, а потом падала в траву ничком и обнимала ее, сгребая в охапку, со всеми букашками и кузнечиками, не успевшими ускакать.

Это было чувство, передать которое невозможно. Обо всем остальном — о бабушке, о лесе и реке, о русской печи с полатями, о рукомойнике во дворе, о корове Матрене и соседском коне Балде, о жгучей траве крапиве и о сладком клевере, нежный нектар которого люди могут высасывать, словно пчелы, и о живущих на картошке полосатых жуках-вредителях, которых надо собирать в баночку, а потом высыпать на твердое и давить, — обо всем этом Ленка поведала своим школьным подружкам, Зойке Каминской и Нинке Шиховой, а заодно и вертевшейся рядом Ирке, подробно и обстоятельно. Ирка слушала, открыв рот. Нинка со знанием дела покачивала головой: у нее тоже был материк, другой, свой, не во всем похожий на Ленкин, но такой же солнечный и волшебный. И у Зойки тоже.

Теперь, конечно, и на материках зима, и дети там точно так же ходят в школу. Это справедливо: не все же им в речках купаться да на великах гонять! А если еще вспомнить, что активировок у тех, материковых, детей не бывает, то и вовсе становится хорошо. То есть ничуть не завидно.

Ленка прижала трубку к уху и снова крутнула диск: 06.

«Точное. Время. Восемь. Часов. Двадцать. Семь. Минут», — произнес механический женский голос.

Ленка как-то спрашивала у папы, кто эти женщины-роботы, где они живут, чем питаются? Как выглядят? Папа сказал, что это не настоящие роботы, а записанные на пленку голоса. Когда им звонишь, включается специальное устройство, и голос оживает. Даешь отбой — и голоса снова нет.

Ленка все поняла, и ей стало жаль роботов, даже если это просто роботы-голоса. Ведь они существуют только тогда, когда им кто-нибудь позвонит. Как они, должно быть, этого ждут, как им темно и холодно в промежутках между звонками... А если выдаться день, когда никто, ни единый человек им не позвонит? Ну, с роботом по погоде такое вряд ли случится, но вот с роботом времени... У всех есть часы, у всех есть радио, и очень скоро телефонный робот времени станет никому не нужен.

Ленка иногда позванивала ему, то есть ей, — просто так, чтобы дать побыть.

И еще — чтобы не было тишины. Тишины она боялась даже больше, чем темноты. В тишине проступали звуки. Как морды существ из рисунка на обоях.

Вот сейчас полдевятого утра. Во всех комнатах горит свет (Гуля предусмотрительно зажгла его перед уходом), а за окнами — чернильная, выпуклая тьма, налегающая на стекла вместе с порывами ветра. Ветер грохочет внешним откосом окна — хлипкой жестяной панелькой, тербит ее и силится оторвать, словно огромный щенок, терзающий игрушку. Это приятный звук, близкий и понятный. Есть еще приятные звуки — шум лифта, хлопанье дверей в подъезде, шаги спешащих на работу соседей... Даже журчание сливного бачка, доносящееся из открытого туалета, — приятный, очень приятный звук. Безопасный.

Но вскоре все соседи разойдутся, а шум ветра и журчание воды превратятся в фон — то есть в ту же самую тишину. И на фоне этой тишины проступят другие, вкрадчивые звуки. Кто-то придет. Скрипнет половицей. Остановится в проеме между комнатой и прихожей, и у Ленки от его присутствия горячо запульсирует в ушах, а волоски на коже встанут дыбом. Но она и вида не подаст, и взгляда не поднимет. Будет все так же, сидя на полу, топтать кулкой в одной руке и медвежонком в другой, разговаривать за них

разными голосами. Или будет рисовать. Да, увлеченно рисовать, напевая песенку. На того, кто пришел, она не будет обращать внимания. Как бы не заметит. И тогда он постоит-постоит немного и, может быть, снова растворится. Ведь уже утро, хоть и полярное, а утром они не имеют права хватать детей. Разве что только тех, кто на них *посмотрит*.

Ленка это знала всегда, сама догадалась как-то интуитивно. А после недавнего случая с Ирккой лишь утвердилась в этой мысли.

Ирку в начале зимы чуть не покусала собака. Немецкая овчарка по кличке Грэй с девятого этажа. Этот Грэй был злощип и свирепый, но своих он все-таки не трогал. А Ирка для него была чужая, не своя. Она пришла из соседнего подъезда. В тот день тоже выдалась актировка, и после обеда все дети высыпали из квартир — поиграть, побегать, полазить по перилам и посидеть, сбившись в кучку, на ступенях лестницы, рассказывая анекдоты и страшные истории. Ленкина мама называла все это иначе: «собирает пыль». «Опять в подъезд, пыль собирать?» — говорила она со вздохом, когда Ленкины подружки-соседки заходили ее отпрашивать. Но всегда отпускала Ленку на часок-другой.

И вот они играли в жмурки на площадке третьего этажа, когда внизу хлопнула дверь и раздался звук семенящих собачьих лап, легкое поклацывание когтей по бетону. И возглас хозяйки, взрослой девушки Лиды: «Грэй! Ко мне!» Но пес, привлеченный смехом и голосами детей, а может быть, просто не пожелавший ехать в лифте, уже несся наверх пружинистыми рывками.

Ленка с Олькой завизжали — скорее все-таки весело, чем от страха — и вскарабкались с ногами на батарею. Альфия юркнула за короб мусоропровода. Димка оседлал перила, Тошка через них перемахнул — и засел там, над высотой, вцепившись в прутья, как обезьянка в зоопарке.

И только Ирка осталась стоять на месте, стащив шарфик с глаз и удивленно глядя перед собой. Нет, даже не удивленно — оцепенело. «Давай к нам!» — звали ее девочки с батареи, но Ирка будто бы и не слышала.

Грэй подбежал и остановился напротив Ирки. Она, такая маленькая и худенькая, преграждала ему дорогу. Он мог бы обогнуть ее при желании справа или слева — места на площадке было достаточно, чтобы разминуться девочке и собаке. Но Грэй не привык

никого огибать. И вообще не привык к такой наглости — обычно все перед ним расступались и вжимались в стенки, а тут...

Несколько долгих секунд они смотрели друг другу в глаза, а потом верхняя губа Грэя сморщилась и приподнялась, обнажив клыки. Пес угрожающе зарычал.

Ленка с Олькой, Альфия, ребята — все ахнули из своих укрытий. В этот момент казалось — укуса Ирке не избежать. А может, и не только укуса. Может, он разорвет ее на клочки, пока толстая Лида доберется до их четвертого этажа.

Тошка, который висел, отключившись, над пролетом, обернулся и крикнул куда-то вниз: «Скорее! Ваш Грэй кидается!»

«Грэй, фу! Нельзя! Ко мне!» — зывала Лида, преодолевая последние марши.

Наконец взбежала. Схватила Грэя за ошейник, оттащила от Ирки: «Нехороший мальчик! Плохой! Тьфу!» Затем и Ирке перепало: «А ты что стоишь, как вкопанная? Не видишь разве — собака идет! Отойти нельзя было?»

Потом, уже успокоившись, оттеснив Грэя к дверце лифта и пристегнув на всякий случай к поводку, Лида обратилась ко всей компании: «Запомните: никогда нельзя смотреть в глаза посторонним собакам! Никогда! Они воспринимают это как вызов».

Ленка запомнила ее слова. Они многое проясняли. И не только по поводу собак, но и про мир вообще. Про мир вещей, звуков, очертаний... Про все вокруг. Про то, каким оно становится, когда рядом нет взрослых.

Это два совершенно разных мира — со взрослыми и без. Любой взрослый для этого мира — все равно что Лида для своего Грэя. Хозяин. Он может сказать ему строго: «Фу! Нельзя!» — и дернуть за поводок. А может и вовсе ничего не говорить, и даже не знать, что держит в повиновении нечто очень опасное и большое. Бесформенно-многоликое. Оно, это что-то, под взглядом взрослого втягивает внутрь свои тени, щупальца, когти и клыки, замирает истуканом и делает вид, что исправно служит предметом обстановки. Вешалкой с висящим на ней пальто. Старым уютным креслом. Пятачком розетки.

Взрослому достаточно просто быть дома, читать книгу в соседней комнате или готовить обед на кухне, чтобы все эти предметы оставались самими собой. Пальто — одеждой, кресло — мебелью,

а розетка — розеткой, пластмассовым кругляшом в стене, с двумя дырочками и шурупом посередине. Чтобы, одним словом, все было *в порядке вещей*.

Когда все в порядке вещей, ребенку бояться нечего. Он может находиться среди этих вещей, которые в порядке, без всякого риска для себя, трогать их, разглядывать, а некоторые даже разбирать на части. Вещи все стерпят, им не бывает больно или щекотно. Они же просто вещи!.. — до той поры, пока родители за стеной.

Но потом наступает день, а вернее — утро, темное утро северной активировки, и вещи в это утро просыпаются совсем другими...

У розетки вдруг оказывается очень странное и злобное выражение круглой мордочки, несмотря на пририсованные фломастером улыбку и ресницы.

Настольная лампа с накинутой сверху шалью оборачивается горбатой ведьмой.

В глубинах кресел и диванов начинается тайная жизнь пружин. Пружины распрямляются и выстреливают с жутким стоном именно тогда, когда сидишь на полу *спиной* к этому самому креслу или дивану. Если же сидеть к креслу (или дивану) лицом, то обязательно крикнет и выстрелит в спину шкаф... Если же боком к тому и другому, держа в поле зрения их обоих, — прошелестит, словно вздох, опавший цветочный листик, или батарея утробно рыкнет, или настенные часы, притихнув и задумавшись на секунду, вдруг явственно сменят ритм.

Про пальто на вешалке и говорить нечего. Если бы не петелька и крючок, неизвестно, кто спрыгнул бы в этом пальто на пол прихожей, чтобы прогуляться в комнату по ее, Ленкину, душу.

Есть еще тени в складках штор, темнота под кроватью, темный экран телевизора, в котором живут двойники всех членов Ленкиной семьи, вынашивая план выбраться наружу и поменяться местами с настоящими папой, мамой, Гулей и Ленкой, а их самих превратить в безмолвные отражения.

Есть много всего, что обступает с четырех сторон и как бы чуть-чуть склоняется, нависает... как бы перетаптывается неукложе, с древесным скрипом и потрескиванием бегущих повсюду незримых трещин. Слово бы вот-вот, еще немного, и что-то снаружи (но снаружи — не с улицы, а откуда-то еще снаружи) проклонет

дырочку и пробуровится в Ленкин дом. Только ему нужно, чтобы Ленка помогла ему изнутри. Всмотрелась бы во что-нибудь повнимательнее, в розетку, например, или в телевизор. Прикипела бы взглядом, забыв моргать и дышать от ужаса. И тогда в том месте оно — протиснется.

Но Ленка не какая-то там дуреха. Она давно знает все эти уловки и ухищрения Неизвестно Кого. Уже давно к ним привыкла, хоть сердце всякий раз от страха в пятки проваливается. Но раньше этот ужас был совсем невыносимым, а теперь — более-менее. Можно терпеть. К тому же это ненадолго, скоро мама придет. Не так скоро, как Ленке хотелось бы, но не так уж и нескоро, где-то через часок. И тогда можно будет веселиться, громко болтать, есть бутерброды с маслом и апельсиновым джемом, смотреть мультики, лежа на животе и болтая ногами, а потом — бежать в подъезд, к ребятам! Целый день веселья и удовольствия впереди!

Час утреннего ужаса — не такая уж большая плата за этот день.

А еще Ленка знала: так будет не всегда. Нужно просто вырасти, как выросла Гуля, как почти уже выросла Альфия, которая теперь, в свои одиннадцать, ничего не боится и как бы даже дразнит это что-то, оставленное позади, показывает ему язык и длинный нос: «А ну давай, догони! Попробуй!» Альфия — первый мастер по рассказыванию страшилок и по вызыванию всяких чертиков, пиковых дам и золушек. Каждый из их подъездной братии хотя бы раз принимал участие в таком вот вызывании под чутким Альфиным руководством. Каждый — хотя бы раз побывал на сеансе в «комнате страха», которые Альфия устраивала у себя дома.

А вот называть ее так — Альфой или Альфийкой — дозволялось далеко не каждому. Только самым-самым. Ленка, хоть и дружила с Альфией, к числу самых-самых не относилась, поскольку была еще слишком «мелкой» для этого: малолеткой. Да и остальные подъездные тоже все были малолетками. А кто не был — как Гуля, например, или большой красивый мальчик с седьмого этажа, строгий и кудрявый, как принц, — те Альфию никак не звали, потому что жили своей жизнью и в подъездных сборах не участвовали.

Альфой, Альфушей и Альфийкой звала Альфию ее мама. Очень добрая, ласковая тетя; она всегда была дома, потому что работала швейей-надомницей, и всегда для Альфийкиных друзей у нее было что-нибудь вкусненькое и что-нибудь интересненькое наготове.

Маленькие нарядные стаканчики с какао на медном, каком-то нездешнем с виду подносе. В другой раз на том же подносе — кусочки халвы впересыпку с невероятно вкусными медовыми шариками под аппетитным названием «чак-чак». Или просто — карамельки с ирисками. Это для угощения, а для игры, пожалуйста: всякие цветастые лоскутки, пряжки, пуговицы; обрезки тканей на любой вкус, от нежного скользкого атласа и легчайшей органзы до толстенького вельвета и грубоватого ворсистого букле; крупные бусины и крошечные разрозненные бисеринки, цилиндрики стекляруса — янтарные, перламутровые, угольно-черные, радужные слюдяно-прозрачные, как стрекозье крыло...

Ленке нравилось трогать, перебирая, все это несметное Альфино богатство. Примерять наперстки на все пальцы сразу (получалась такая разудалая щегольская компашка на растопыренной пятерне). Выкладывать на ковре забавные рожицы из бусинок и стекляшек. Повязывать голову и запястья длинными полосками органзы, вплетать в волосы разноцветные капроновые тесемки и закреплять на веках, поклонив, блестящие чешуйки-пайетки, чтобы стать настоящей фрейлиной настоящей принцессы эльфов...

И вообще, Ленке очень нравилась Альфия. Даже то, как она командует. И как дразнится, заставляя их с Ольгой, Димкой и Тошкой — всех вчетвером! — пыжиться от усилий, придумывая достойный ответ. Красивая, ловкая, умная девочка — Альфия!

Одного только не понимала Ленка: зачем, ну зачем она постоянно рассказывает им эти ужасные истории, — ну зачем?! От них так плохо потом, так сердце бьется в темноте, заглушая даже громкие крики «Го-о-ол!!!» из соседней комнаты и тревожную скороговорку телеведущего. И ты лежишь, не смея вдохнуть и выдохнуть, вмерзнув в смятую простыню доисторическим мамонтенком... а гроб на колесиках между тем уже выехал искать твой город...

...И вот мама купила эту пластинку, принесла домой и говорит девочке: «Доченька! Если ты хочешь, чтобы я осталась жива, никогда не слушай эту пластинку!» «Хорошо, мама!» — сказала девочка. Утром мама ушла на работу, а девочка думает: интересно, что там такое? — Поставила пластинку и стала слушать. Сначала там была очень красивая танцевальная музыка, девочка обрадо-

валась, стала танцевать, закружилась по комнате. А потом голос на пластинке и говорит: «Девочка-девочка, гроб на колесиках ищет твой город!» Девочка испугалась и выключила пластинку.

Вечером ее мама вернулась домой без обеих рук.

Она была очень грустная и спросила девочку: «Дочка, ты случайно не слушала ту пластинку, про которую я тебе говорила?» «Нет, мамочка, что ты!» Ну ладно. Поужинали, легли спать.

На другой день мама снова ушла на работу, а девочка опять завела пластинку и принялась танцевать. Когда музыка кончилась, голос с пластинки и говорит: «Девочка-девочка, гроб на колесиках нашел твой город! Теперь он ищет твою улицу!» Девочка испугалась, заплакала и выключила пластинку.

Вечером ее мама вернулась домой без обеих ног.

Она была совсем грустная и бледная, много крови потеряла. «Доченька, — говорит, — скажи мне правду: ты слушала ту пластинку?» — «Что ты, мамулечка! Я ее даже не трогала!..» — «Ну ладно. Что-то я плохо себя чувствую. Давай спать».

Утром мама снова ушла на работу, а девочка терпела-терпела, терпела-терпела, но под вечер не вытерпела и опять завела пластинку. И снова полилась музыка, красивая-красивая, и девочка принялась танцевать... А потом голос и говорит: «Девочка-девочка! Гроб на колесиках нашел твою улицу! Сейчас он ищет твой дом!»

Девочка испугалась, выключила пластинку, но голос все равно откуда-то говорит: «Девочка-девочка! Гроб на колесиках нашел твой дом!.. Он ищет твой этаж!.. Поднимается... ищет твою квартиру... Он нашел твою квартиру!!!»

И в это самое время раздался звонок в дверь. Девочка побежала открывать, открыла, а там стоит гроб на колесиках и внутри лежит ее мама, разрубленная на куски...

Странная история. Даже глупая. Ленка и сама понимала, что так не бывает. Гуля, когда услышала эту историю в Ленкином пересказе, сразу нашла тысячу нестыковок. Зачем мама притащила домой эту пластинку? Неужели нельзя было просто ее разбить? Потом: как мама могла явиться домой *без ног*? А главное: почему девочка, убедившись, что пластинка и в самом деле постепенно убивает ее маму, все-таки поставила ее и во второй, и в третий раз? Какая дочь способна на такое?!

Ленка согласилась со всеми этими доводами, припомнив, что и тогда еще, на батарее под лестницей, у них возникали к Альфии те же самые вопросы — и про ноги, и про то, почему нельзя было разбить эту ужасную пластинку и тем самым покончить с гробом на колесиках раз и навсегда, — но Альфия как-то очень складно и разумно на всё ответила. Обосновала так, что не придерешься. Не ответила она лишь на один вопрос — и то лишь потому, что никто его так и не задал.

Почему девочка заводила пластинку снова и снова? Она ведь знала, что мама ее умрет...

Ни Ленке, ни Ольке, ни Димке, ни даже Тошке, самому заядлому почемучке из их компании, не пришло в голову спросить: как же так?

Они и без того знали — как же.

То есть, вернее всего, не знали, и даже ни о чем таком не задумывались в силу своего незрелого малолетства, но ведь что-то же в них было такое, что — догадывалось, принимало без разъяснений; что-то определило сам этот вопрос как лишний, с заведомо известным простым ответом, который и озвучивать-то не стоит... Девочка заводила пластинку снова и снова. *Разумеется*, заводила!

Точно так же как Ленка вот сейчас, *разумеется*, двигает плюшевого Михлю (вперевалочку) и куклу Асю (в маленькую припрыжку) навстречу друг другу и говорит: «О, здравствуйте! Это вы?! — Да-а-а!.. Я давно уже тут гуляю и очень-очень хочу с кем-нибудь поболтать! — Ну, давайте я с вами немножечко поболтаю! Замечательная сегодня погода, не правда ли?»

У Ленки бледнеет кончик носа, а кукла того и гляди выскользнет из потной ладошки, упадет лицом в пол и захнычет: «Ма-мма!..» Ей, Ленке, бежать бы отсюда со всех ног. Метнуться в прихожую, повиснуть на замке, отпирая, — а там уже и лестничная клетка, ступени вниз... Ну и что с того, что босиком и в одних трусах, без юбочки. Ну и подумаешь. Какая разница, если надо — выжить?!

Вот и бежала бы, когда было время! Что ж ты не убежала?.. А теперь уже поздно. Всё. Они окружили тебя плотным кольцом, и кольцо смыкается. Там, наверху, где их головы, оно сомкнулось уже давно. Они сомкнули головы и смотрят на тебя сверху. Ну заметь же их, заметь! И тогда все будет кончено... «О-о-о!!! Ка-



кой у вас интересный блестящий нос!!! А скажите, пожалуйста, из чего он сделан?!»

И Ольга, точно так же *разумеется*, сидит в своем чуме из старенькой алюминиевой стремянки и накинутах сверху покрывал, и понимает — в который уж раз, наверное! — что спасения нет и что здесь, в этой слепой ловушке, они уж точно ее достанут. Теперь уж точно...

И Антон, и Димка знают про это самое *разумеется*. Оно у каждого свое. И для каждого — повторяется снова и снова, как заведенная пластинка, под которую танцует девочка. К которой едет гроб на колесиках. В котором лежит ее мама.

«Надо сказать маме, когда она придет, чтоб не опаздывала больше так надолго», — подумала Ленка, и вдруг совершенно ясно, отчетливо поняла: мама не придет. Никогда.

Эта мысль ожгла, словно выплеск кипятка изнутри. Заполнила собой все Ленкино существо и просочилась наружу — горячей, быстро остывающей испариной.

Вот оно и случилось. Произошло. Дом дал трещину, корабль — течь; Неведомо Кто просунул длинный лисий нос в разрушенную земляную норку и осклабился: «Привет, мышонок!»

Ленка продолжала сидеть как сидела, подвернув одну ногу калачиком под себя, а другую выставив коленкой кверху; низко понутив голову над своим притихшим кукольно-медвежьим театром... Ленка продолжала сидеть, — а Лиса уже несла ее, подхватив за шкирку, куда-то очень и очень далеко. За темные леса. За дальние горы. За быстрые воды.

Вот и все. Мама никогда не вернется. А папа, прилетев на своем вертолете с целым мешком подарков, с ведром брусники, и с бидончиком морошки, и с пахучей вяленой олениной в бумажном свертке, — так и не сможет никогда понять, что случилось с его любимой младшей дочерью. И откуда вместо нее в их доме — эта незнакомая бледная девочка с глазами, полными тишины.

Да, вот кто вместо нее останется. Просто тихая бестолковая оболочка. Кто-то вроде Ирки. Невидимка. Похищенный человек.

Ленка чувствовала все это как боль. Как острые мелкие лисьи зубки, впившиеся в шею. Куклы в ее руках занемели, смотрели уже искусственно, безучастно, и как бы уже находясь *по другую сторо-*

*ну* от нее. Как бы — стремительно отдаляясь. Им было, в общем-то, все равно, как долго она собирается за них цепляться...

«Мама никогда не придет», — еще раз глухо тукнуло в Ленкиной помертвелой душе, и Ленка разжала пальцы.

В это время затренькал дверной звонок.

Позже Альфия со смехом рассказывала ребятам, как пришла утром к Ленке — передать по поручению ее мамы, что та ненадолго задержится на работе и что завтрак — в холодильнике, в кастрюльке, надо разогреть; и еще заодно проверить, что там с телефонной трубкой, небось, опять криво повесили на рычажки — дозвониться же невозможно, сплошная занятость! — и как Ленка билась, рыдая, в дверь, с криками «мама, мама!»

— Успокойся! Это не мама! Это я! — внушала ей Альфия, приблизив губы к замочной скважине. — Что там у тебя такое? Дверь не открывается?

В руке у Альфии был большой бутерброд с черным хлебом, маслом и сахаром. Пока Ленка сражалась с дверью, Альфия успела сжевать его на две трети.

Наконец дверь открылась. Зареванная, вся красная Ленка предстала пред очи старшей подруги. Не переставая всхлипывать и икать.

— Ну и ну, — сказала Альфия, как бы глазам собственным не веря. — Опять ты за старое... Опять, значит, бабай к тебе приходил... А я-то думала, ты его давно уже не боишься...

— Я и не боюсь, — сказала Ленка. И вытерла со щек последние солено-жгучие ручейки. — Проходить будешь?

— Да уж придется... пройти!

Альфия скинула в прихожей тапочки, прогулялась на кухню, в гостиную, поднесла телефонную трубку к уху и, постучав пальцем по рычажкам, аккуратно водрузила ее на место. Так, что еще? Мама задержится, макароны — в кастрюльке, на улицу не выходить, посторонним не открывать.

— Альфия... Побудешь со мной немного? — спросила Ленка, ховившая за Альфией, как хвостик, по всей квартире.

— Ладно, — повела плечом Альфия.

— Альфия... Сделаешь мне такой же?

— С маслом и сахаром? Хорошо!..

Сели играть в карты. Ленка — умытая, в юбочке, с бутербродом в руке. Альфия знала множество интересных карточных игр кроме поднадоевших «дурака» с «пьяницей». Игра в «свадьбу». В «танцы». В «больничку» (если колода была старая, потрепанная и никому особо не принадлежала; тогда карты можно было еще немножечко искалечить, помяв и надорвав по краям, а потом — лечить, накладывая повязки из лейкопластыря).

Сегодня, правда, Альфия была какая-то не такая; игра не клеилась. Повальсировав для виду с Ленкиной дамой *крести*, валет *бубей* вывернулся из пальцев отстраненной, задумчиво-рассеянной Альфии и обессилено рухнул рубашкой вверх.

— Слушай, Ленкин, — сказала тут Альфия. — А помнишь, мы хотели гномика вызвать? Я вот шла к тебе, думала — вызовем... А теперь даже не знаю. Тебе, наверное, еще рано, маленькая ты еще; всего боишься...

— Да ну прям! — фыркнула Ленка на эту глупость. — Чего это я всего боюсь? Не боюсь я!.. Давай вызовем!

— С другой стороны, — размышляла вслух Альфия, — гномик — это ведь и не страшно. Он добрый и никому не делает зла. Наоборот: он защищает маленьких девочек от бабаев и прочих бяк. Если в доме поселился гномик — все, ни один бабай туда уже не сунется. Так что, в принципе... если хочешь...

— Ага! — выпалила Ленка. — Хочу!

— Тогда погнали.

Для вызова гнома им потребовалось: небольшое ручное зеркальце; тюбик зубной пасты; игла; нить; одна изюмина в шоколаде.

Изюмину проткнули иглой и подвесили за нитку к настольной лампе. У подошвы лампы, ровнехонько под изюминой, положили измазанное зубной пастой зеркало. Произнесли три раза: «Гномик-гномик, выходи!» — и, выключив свет, ушли из комнаты. («Стой, надо окно открыть!» — вспомнила тут Альфия и на миг вернулась.) Сели на кухне, налили чаю и стали ждать.

Спустя пять или десять, или все пятнадцать — в общем, сколько там правилами положено — томительных минут девочки отодвинули в сторону свои чашки, встали из-за стола и отправились в комнату. Проверять, приходил ли гномик. А может, он и сейчас там сидит, на зеркале, на краю латун-

ной резной оправы, и, вздыхая и охая, счищает зубную пасту со своих маленьких остроносых башмачков. Сердце у Ленки заколотилось. Ладонь Альфии, которую она нащупала в темноте, была прохладной и немного влажной.

— Тс-с! — обернулась к ней Альфия, приставив палец к губам. — Не спугни!

Гномик действительно был в комнате. Если не сейчас, то минутой раньше. Он действительно сидел на берегу зеркала и, вздыхая, чистил свои крохотные башмачки с мягкими курносыми носами и красивыми серебристыми пряжками. Ленка сразу увидела, что именно так оно все и было.

Сейчас, когда гномик исчез, в комнате мерцала, переливаясь, искристая пухло-синяя темнота. Было очень свежо — видимо, из-за открытой форточки. И еще было так, как однажды — внутри сугроба, то есть внутри вырытой в сугробе пещеры, в которую пацаны из их двора забирались по одному и лежали, подсвечивая себе фонариком, сапогами наружу. Сама Ленка в пещеру не забиралась, они с Ольгой смотрели на это со стороны. И представляли, как там, внутри, красиво и как волшебнo...

Теперь волшебнo было здесь, у нее в комнате. Так волшебнo, что от этого волшебства ломило душу — словно зубы от глотка студеной колодезной воды. Ленка прижала к душе обе ладони и так стояла, не смея двинуться, на пороге комнаты. Пока Альфия не потянула ее за локоть: идем!

Альфия зажгла настольную лампу, и в круге света, который упал на поверхность зеркальца, стали видны отчетливые следы. Словно кто-то прошел по снегу. Кто-то, обутый в точно такие же башмачки, которые видела Ленка в своей дивной короткой грезе...

Шоколадная изюминка на ниточке тоже оказалась надкушенной. Альфия взяла ее двумя пальцами и поднесла к лицу:

— Хм!..

Ленка не знала, что значило это «хм!».

Все, что происходило в ней сейчас, говорило — кричало, вопило громким голосом — об одном. О том, что не зря она верила. Не зря ждала. Гуля, и мама, и даже папа уже почти убедили ее в том, что сказок не существует. Что все на свете сказочные герои — выдумка. И злые, и добрые, и хорошие, и плохие.

В том, что не существует *других* героев — неназванных, Неизвестно Каких, — они убедить ее не могли. Это было просто не в их власти. Не им под силу. Даже самому доброму, любимому, сильному, самому лучшему и родному папе.

И вот Сказка — вместе с замутненной и поколебленной в нее верой — начала понемногу из Ленкиной жизни уходить. А те, другие, — они остались. С ними было так просто не разминуться. И Ленка в свои семь с половиной лет уже отчаялась дожидаться того момента, когда им всем наконец расхочется ее съесть, утащить, украсть, и когда наконец можно будет поднять глаза от кукол и свободно оглянуться по сторонам.

— Ты посмотри-ка! — вдруг воскликнула Альфия.

Она уже включила верхний свет и, не приближаясь, разглядывала что-то странное на полу. Это что-то торчало из-под ковра заостренным длиненьким уголком. На верхушке у уголка явственно просматривался... бубенчик. Крохотный, — размером, наверное, не больше мандариновой косточки.

— Что это? — шелестнула губами Ленка.

— Не знаю, — еле слышно ответила Альфия. — Пойдем посмотрим...

Когда наконец у подружек хватило смелости приподнять край ковра, они обнаружили под ним слегка помятый маленький колпачок — длинный, узкий и, несомненно, гномий. Сделан он был из какого-то необыкновенного, явно волшебного материала прозрачно-синего цвета; искрил и поблескивал на свету. Серебряный бубенчик позванивал грустным и нежным, мечтательно-тихим звоном...

— Вот это да-а! — сказала Альфия, рассматривая гномий колпачок у Ленки в ладони. — Вот это... номер!.. И что ты будешь теперь с ним делать?

— Я? — удивленно взглянула Ленка на Альфию.

Альфия поощрительно улыбнулась:

— Ну, ты же его нашла. Вернее, мы, — у тебя дома! Так что он теперь — твой. Владей.

В другое время Ленка, получив от Альфии такой по-настоящему королевский подарок, принялась бы лепетать бесчисленные «спасибо» тоненьким голоском и благодарно-преданно заглядывать ей в глаза, но сейчас она, кажется, не обратила на великодушную

щедрость подруги никакого внимания. Стояла и смотрела в свою расправленную ладошку, на колпачок.

На улице тем временем начинало понемногу светать. Густая, как повидло, черничная тьма сменилась фиолетово-синим, из той же черники разведенным жидковатым морсиком. Отражения в окнах утратили свою упругую налитую яркость и поблекли; сквозь них теперь проглядывал заснеженный двор, длинная кирпичная стена дома напротив — словно корпус еще одного, плывущего рядом, корабля. Внизу через весь двор тянулись муравьиной тропой редкие, скрюченные от ветра фигурки людей, срезая путь с улицы Зорге на улицу Комсомольскую. Скоро взойдет солнце. Белесое привидение в белесых, затянутых мутной хмарью северных небесах. Помаячит немного и снова скроется — до завтрашнего полудня...

Альфия глянула на часы:

— Ого, половина двенадцатого! Пойду я пока домой. Сделаю уроки, а потом, наверное, на площадку. И ты тоже выходи. Будем играть во что-нибудь.

Часа через два преображенная Ленка — в платьице, в колготочках, с целым пузом вкуснейших сырно-яйцевых макарон и с приятной шероховато-выпуклой кисленькой барбариской за щекой — вышла на лестницу и взбежала на пятый этаж. «Трайля-ля, — напевала, постукивая леденцом о зубы. — Трим-па-па!..»

На площадке пятого этажа стоял какой-то дядя и курил, перегнувшись через перила. Ну, не совсем какой-то: немножко все-таки знакомый. Участковый.

— Здравьете! — сказала ему Ленка.

— Здравствуй, — сказал дядя.

Ленка позвонила в квартиру номер 48 и спросила в хитро прищуренный, замаячивший в щелочке Олькин глаз:

— На площадку выйдешь?

— Ага, — сказала Оля и снова закрыла дверь.

Пока она собиралась, Ленка встала рядом с дядей, ткнулась лбом между прутьев перил и тоже посмотрела вниз. Ничего интересного там не было. Обычная металлическая сетка с застрявшими в ней окурками и фантиками от конфет. Такие сетки в их доме были натянуты через каждые два пролета — для безопасности и для сбора мелкого мусора.

— Знаете, — не выдержала вдруг Ленка, — а ко мне гномик приходил.

Дядя повернул голову, глянул непонимающе.

— Вот! — предъявила ему Ленка неоспоримое доказательство.

— Ну-ка, ну-ка, что тут у нас такое? — заулыбался дядя, только сейчас сообразив, что перед ним ребенок. — Какой красивый колпачок! Это гномик тебе оставил?.. Можно?

Дядя взял колпачок двумя пальцами, опустил к себе на ладонь.

— Это ж надо! Как настоящий!

— Ну да, — скромно кивнула Ленка. — Это настоящий колпачок гномика. Так и есть.

— Ну, здорово! Молодец! — выразил дядя свое восхищение. Потом он вернул колпачок Ленке, растер и незаметно отряхнул с пальцев оставшуюся на подушечках какую-то блестящую золотистую ерунду и спросил, не знает ли она случайно, где могут быть Заливановы из 45-й квартиры.

— Битый час их жду! Как будто у меня других дел нету!

Но Ленка не знала, где могут быть Заливановы из 45-й. Ленка вообще никаких Заливановых не знала. Пожав плечом, она отодвинулась от дяди: Оля уже выходила из своей квартиры, гремя замком и что-то торопливо дожевывая. Ленка поспешно сунула колпачок в карман.

Ольке она расскажет о нем не так. Не так, как дяде. Надо еще подумать, как рассказать! Может, собрать их всех, Ольку и Тошку с Димкой, и для начала продемонстрировать им колпачок, не говоря ни слова. Пусть сами спросят. А может, рассказать каждому по отдельности... Или, может, рассказать им на пару с Альфией, в ее присутствии: уж так-то поверят сразу, безоговорочно!..

Ленка еще не знала, что через два дня, в пятницу, Оля расскажет ей самой — под большим секретом, — что Альфия рассказала ей, взяв с нее клятву молчать, что никакого гномика не было, и что колпачок этот сшила она, Альфия, и следы на зеркале тоже она оставила — брелоком в виде крохотной восточной туфли, и конфету надкусила собственными зубами...

Обо всем этом Ленка еще узнает. А пока у нее есть два дня. Два самых счастливых — и самых волшебных — дня в ее детской жизни. Ей не грозит никакая опасность. У нее — колпачок в кармане. И гномик, юркнувший под ковер...